

Образы Италии в эпистолярном наследии Достоевского¹

Дергачева И.В.,

доктор филологических наук, зав. кафедрой лингвистики, Московский государственный институт культуры, Москва, Россия krugh@yandex.ru

В статье представлен историко-литературный анализ опубликованных текстов писателя, содержащих свидетельства о маршруте и путевые заметки, анализ основных концептов, связанных с Италией. Для интерпретации смыслов текстов автор применяет комплексный подход с использованием филологического, философского, культурологического и религиоведческого инструментария. Эпистолярные тексты Достоевского как фактор формирования национальной ментальности исследуются с точки зрения соотношения текста и внетекстовых структур (символических представлений, мотивации, поведенческих стереотипов, социальных и культурных практик).

Ключевые слова: Достоевский, эпистолярное наследие, образы Италии, концепт «красота», genius loci, итальянский текст, интертекст.

Для цитаты:

Дергачева И.В. Образы Италии в эпистолярном наследии Достоевского [Электронный ресурс] // Язык и текст 2019. Том 6. №1. URL: <http://psyjournals.ru/langpsy/2019/n1/Dergacheva.shtml> doi: 10.17759/langt.2019060103 (дата обращения: дд.мм.гггг)

For citation:

Dergacheva I.V. Images of Italy in Dostoevsky's epistolary heritage [Elektronnyi resurs]. *Jazyk i tekst [Language and Text]*, 2019, vol. 6, no. 1. Available at: <http://psyjournals.ru/langpsy/2019/n1/Dergacheva.shtml> doi: 10.17759/langt.2019060103 (Accessed dd.mm.yyyy)

В письме Я.П. Полонскому от 31 июля 1861 г. Ф.М. Достоевский признается, как страстно он мечтает попасть в Италию, столь желанную ему с самого детства: «Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Еще с романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарини и Лючии вьелись в мою голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу. Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж теперь не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. Неужели придется ехать лет через десять согреть старые кости от ревматизма и жарить свою лысую и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и умереть, не выдав ничего!» [2, т. 28, кн. 2, с. 19–21].

Достоевский побывал в Италии трижды. В 1862 году вместе с Н. Страховым он посетил Турин, Флоренцию, Милан и Венецию. Через год он вместе с возлюбленной А.П. Суловой пересек Италию с севера на юг, посетив Турин, Рим, Неаполь и Ливорно. Самым продолжительным, с сентября 1868 года по август 1869 года, стало третье пребывание писателя в Италии: Федор Михайлович с женой Анной Григорьевной по несколько месяцев жили во Флоренции и Милане, посетили Венецию и Болонью. Флоренция стала самым значимым городом для писателя в этой поездке. Во Флоренции писатель закончил работу над романом «Идиот». Анна Григорьевна считала, что флорентийская атмосфера действовала на писателя благосклонно, они вместе посещали многие

¹ Проект выполнен при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-012-90034. Достоевский и Италия)

достопримечательности города. Для писателя это было время переживаний в связи со смертью М.Д. Исаевой, первой жены, смертью любимого брата, М. М. Достоевского, чьи долги он переписал на себя. Закрытие в 1965 году журнала «Эпоха» особенно осложнило материальное положение писателя, он был вынужден уехать за границу в надежде отложить долговые обязательства, которые его кредиторы пытались взыскать даже там [4].

В письмах писатель часто возвращался к своей мечте поправить материальное положение и изыскать возможности для возвращения на Родину. Так, например, в письме А.Н. Майкову от 26 октября (7 ноября) 1868 г. из Милана, он пишет: «В Россию воротиться — трудно и помыслить. Никаких средств. Это значит как приехать, так и попасть в долговое отделение. Но ведь я уж там не рабочий. Тюрьмы я с моей падучей, не вынесу, а стало быть, и работать в тюрьме не буду. 10 Чем же я стану уплачивать долги и чем жить буду? Если б мне дали кредиторы один спокойный год (а они мне три года ни одного спокойного месяца не давали), то я бы взялся через год уплатить им работой. Как ни значительны мои долги, но они только 76-я доля того, что я уже уплатил работой моей. Я и уехал, чтоб работать. И вот идея «Идиота» почти лопнула. Если даже и есть или будет какое-нибудь достоинство, то эффекта мало, а эффект необходим для 2-го издания, на которое я еще несколько месяцев назад слепо рассчитывал и которое могло дать некоторые деньги. ... Переехав в Россию, я бы знал чем заняться и добыть денег; я таки добывал их в свое время [2, т. 28, кн. 2, с. 321]. По мере изложения другу своей жизненной ситуации, отчаяние усиливается: «А здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю. Русского воздуха нет и людей нет. Я не понимаю, наконец, совсем русских эмигрантов. Это — сумасшедшие!» Из этого же письма мы узнаем, в какой сложной обстановке создавался один из самых знаменитых романов Достоевского – «Идиот»: «Вот в таком-то положении наши дела. Но в Милане оставаться тоже нельзя: слишком неудобно жить и слишком уж мрачно. Хотим переехать через месяц во Флоренцию, и там я кончу роман». [2, т. 28, кн. 2, с. 322].

Genius loci образов Италии постоянно присутствует в тексте писем Достоевского в качестве культурной и философской аллюзии. Достоевский развивает мысль о великом предназначении Италии как страны, призванной объединить человечество на основе стремления к идеальному образу красоты. Анализ писем писателя итальянского периода дает представление о том, как фактор места влияет на Достоевского в период его пребывания в Италии и показывает, как объективная реальность входит впоследствии в художественный текст, интерпретируется им и одновременно под его воздействием физически изменяется.

Прежде всего, для писателя Италия – это символ красоты, той красоты, которая призвана спасти мир: «Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому, 77 совершенно в наше время ненужными. Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел прочь. Но ведь это любованье не похоже на любованье, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог», и вы, сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, охлаждающее эпидерму; может быть, даже, — кто это знает! — может быть даже, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновение прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом» [2, т. 18, с. 77-78]. Гражданская ответственность писателя не позволяет ограничиться признанием эстетической ценности произведений искусства, ему важно подчеркнуть его воспитательную функцию: «Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не так, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад» [2, т. 18, с. 78].

Писатель с большой скорбью пишет о повсеместном отказе малоразвитых людей от классических ценностей: «Ныне слова «Я ничего не понимаю в Рафаэле» или «Я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного» — слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один, Рафаэль ли один подвержены теперь такому суду и сомнению? Это замечание о гордых невеждах, которое я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и «духу придает». [2, т. 24, с. 44].

Сам писатель использовал иногда образы Италии как некое альтернативное сказочно прекрасное пространство, в которое он погружался, чтобы забыться в нем, отделившись от суровой действительности: «Наконец, в крепости-то, увидел того же жандармского офицера, из простых, который меня привез из 3-го отделения в крепость и который до призыва меня в Комиссию караулил меня в комендантской комнате и, когда я там, смотря на висащие на стенах виды Венеции, стал ему рассказывать, что вот, мол, чудной город, лошадей нет, улиц нет, а только каналы, и кухарки за провизией или ездят на лодках, или купцы подъезжают на лодках, а к ним спускают корзины с деньгами, и они накладывают провизию... [2, т. 18, с.192]. Однако офицер не разделил восторга писателя: «смотрел на меня как на вралю, и, может быть, опасного. «Ну вот, вы меня сюда привезли, покажите теперь, как выйти» — сказал я ему. Он обрадовался как родной: «Пойдемте, пойдемте!» [2, т. 18, с. 193].

Образы таинственной Венеции, так привлекавшей многочисленных писателей в разное время и в разных странах, были особенно близки Достоевскому: «Во время своего путешествия из Москвы в Петербург, длившегося несколько дней, молодые Достоевские продолжали витать в мечтах. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, — рассказывает отец, — мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи..., а я ...сочинял роман из венецианской жизни» [3, с. 36].

Венецианская тема продолжена писателем в предисловии к публикации «Заклучение и чудесное бегство Жака Казановы из Венецианских темниц (пломб), где Достоевский указывает, что «Личность Казановы одна из самых замечательных своего века. Казанова выражает собою всего тогдашнего человека известного сословия, со всеми тогдашними мнениями, уклонами, верованиями, идеалами, нравственными понятиями, со всем этим особенным взглядом на жизнь, так резко отличающимся от взгляда нашего девятнадцатого столетия... бегство Казановы из венецианских пломб наделало тогда большого шума в Европе и доставило ему чрезвычайную известность. Из этих темниц бежать почти невозможно. Это рассказ о торжестве человеческой ВОЛИ над препятствиями непреодолимыми» [2, т. 19, с. 86-87]. Пребывая сам в крайне тяжелом положении, писатель с удовольствием воспринял пример победы силы воли человека над обстоятельствами.

В 1862 г., мечтая о своем первом итальянском путешествии, писатель в письме к Н. Н. Страхову пишет из Парижа: «...Что-то будет дальше, как спущусь с Альпов на равнины Италии. Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?)» [2, т.28, кн. 2, с. 26-28].

Удивительно, как тонко Достоевский подметил особенность эсхатологических воззрений русского человека, то, что представляется возможным назвать «эсхатологическим оптимизмом» русской аксиологии [1, с. 73] – нежелание, в отличие от представителей западноевропейской культуры, представлять смерть в ее макабрическом облике: «Когда нам говорят о смерти, когда клянутся богами ада и указывают нам на смертную секиру и падающие головы, мы слушаем с северною холодностью; нас это не трогает, не ужасает». [2, т. 19, с. 138].

Много внимания в эпистолярном и публицистическом наследии писателя уделено вопросу о католицизме и светском владычестве папы: «... мы, говоря о признаках римской политической агитации в пользу восстановления светского владычества папы, замечаемых во всей Европе,

упомянули, между прочим, о двух любопытнейших письмах... в письме папы сейчас же следуют самые удивительные слова из всех, каких можно было ожидать от главы римского католичества: «Я говорю так, — пишет папа, — потому что считаю долгом говорить истину всем, хотя бы и не католикам; ибо всякий, принявший крещение, принадлежит более или менее — я не могу изъяснять здесь в подробности почему — принадлежит, говорю, более или менее папе». Вот слова, далеко намекающие! Давно уже римское католичество не заявляло подобных мыслей и такого учения!» Достоевский с негодованием подытоживает: «Итак, все эти еретики, все эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы, в свое время восставшие на «наместника божия» с мечом в руке и с ругательным обличением, — все эти «грешники и погибшие», которые все до единого были прокляты в свое время на всех возможных соборах, — все они теперь опять уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, уже снова имеют право принадлежать ему — а стало быть, право на его отеческое заступничество за них перед монархами и сильными мира сего! Действительно широкий ю взгляд, ибо давно ли еретик не только не мог считаться в глазах римской церкви христианином, но даже был хуже язычника? И такие мысли возвещает сам папа, непогрешимый посредник между богом и человечеством!» [2, т. 21, с. 205]. Неудивительно, что мысль о том, что католицизм хуже язычества, писатель вкладывает в уста своего любимого героя, своеобразного пророка князя Мышкина из романа, писавшегося преимущественно и законченного во Флоренции: «Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, — произнес вдруг князь, — как же мог он подчиниться вере... нехристианской?.. Католичество — всё равно что вера нехристианская! — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. — Ну, это слишком, — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. — Как так это, католичество вера нехристианская? — повернулся на стуле Иван Петрович. — А какая же? — Нехристианская вера, во-первых! — в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь, — это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! Да! таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю 40 вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило... Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: «Non possumus!» По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и идет, только к мечу «Не можем!» прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм прежде всего с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия духовного! Атеизм! У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился наемни Евгений Ю Павлович, корень потерявшие; а там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, — прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко христианству! Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. [2, т. 8, с. 449–450]. Писатель постоянно возвращается к папскому вопросу: «Провозгласив как догмат, «что христианство на земле удержаться не может без земного владения папы», оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царства земные: «Всё сие отдам тебе, поклонися мне!» О, я слышал горячие возражения на эту мысль; мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно [2, т. 22, с. 87-91]. Достоевский приводит параллели между папой, жаждущим земной власти, и язычником Юлианом Отступником: «...Нет, тут сила; это величаво, а не смешно; это — воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве; это Рим Юлиана

Отступника, но не побежденного, а как бы победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом продажа истинного Христа за царства земные совершилась... Потеряв союзников царей, католичество несомненно бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнительей, премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников, а народ всегда и везде был прямодушен и добр. ..А папа вас не предаст, потому что над ним нет сильнеешего, и сам он первый из первых, только веруйте, да и не в бога, а только в папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу» [2, т. 22, с. 87–91].

В «Дневнике писателя за 1877 год январь–август» Достоевский вновь возвращается к папскому вопросу, противопоставляя православие, духовно объединяющее людей, и католичество, утратившее духовность: «Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во ю главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществимо быть не может. И вот началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под 20 началом папы, как владыки мира сего». [2, т. 22, с. 151–153].

Достоевский отдает должное Бисмарку за то, что «что гениальный политик сумел оцепить, может быть единый в мире из политиков, как сильно еще римское начало само в себе и среди врагов Германии и каким страшным цементом может оно послужить в будущем для соединения всех этих врагов воедино. Он сумел догадаться, что, может быть, у одной лишь римской идеи может найтись такое знамя, которое в роковую (а в глазах Бисмарка и неизбежную) минуту сплотит всех уже раздавленных им врагов Германии опять в одно страшное целое. И вот гениальная догадка вдруг оправдалась... Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводительствующий всем и всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на Германию». [2, т.22, с. 157].

Мечтая, что «мир спасет красота», Достоевский верил в Италию как в страну искусства, которая сумеет объединить людей на почве любви к прекрасному, а отнюдь не на почве идеи политического объединения. Поэтому национальный герой Италии Гарибальди описан писателем с немалой долей сатиры. Так, в письме племяннице С. А. Ивановой от 29 сентября (11 октября) 1867 из Женевы он пишет: «Женева сама Женева — верх скуки. Это древний протестантский город, а впрочем, пьяниц бездна. Я сюда попал прямо на Конгресс Мира, на который приезжал и Гарибальди. Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, — которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, — социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5 000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противоречие себе — это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделаться маленькими; все капиталы прочь, чтоб всё было общее по приказу, и проч. Всё это без малейшего доказательства, всё это заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное, огонь и меч — и после того как всё истребится, то тогда, а Было: огнем по их мнению, и будет мир». [2, т. 28, кн. 2, с. 225].

Несмотря на то, что во время заграничных путешествий Достоевский очень скучал по России, в его эпистолярном наследии имеются свидетельства о тонком художественном вкусе его и его супруги А.Н. Достоевской: «Мы переехали теперь в Италию, через Симплон (самое пылкое воображение не представит себе, что это за живописная горная дорога (через Симплон)) и поселились в Милане... Всё, что есть замечательного в городе, — это знаменитый Миланский собор, громадный, мраморный, готический, весь вырезан и фантастичен, как сон.[2, т. 28, кн. 2, с. 317-319].

Особое впечатление на писателя производила Флоренция: «...Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду Voboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галереях! Боже, я просмотрел «Мадонну в креслах» в 63-м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее сколько божественного. Но всё оставил до окончания романа. Теперь закупорился!» [2, т. 28, кн. 2, с. 331]. Достоевский «закупорился» для написания романа, навсегда вошедшего в золотой фонд мировой литературы, и образы прекрасной Италии, которые он принимал близко к сердцу и так ценил, имплицитно вошли в образную систему романа «Идиот», шедевра мировой классики.

Уже вернувшись на родину, Достоевский явно тосковал по Италии, что отмечено в его эпистолярном наследии.

Литература

1. Дергачева И.В. Русская и европейская танатологические парадигмы XIV–XVII вв. в сравнительном аспекте (на материале Синодиков и макабрических сюжетов) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (68). М.: ИНДГРИК, июнь 2017. С. 69–75.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, кн.2. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1973, 1978–1982, 1985.
3. Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992.
4. Захаров В.Н. Судебный розыск Достоевского летом 1871 г. // Достоевский и мировая культура. Альманах № 29. СПб. 2012 С.276-277.

Images of Italy in Dostoevsky's epistolary heritage

Dergacheva I.V.,

*Doctor of Philology, head of Department of Linguistics, Moscow State Institute of Culture,
Moscow, Russia krugh@yandex.ru*

The article presents a historical and literary analysis of the published texts of the writer, containing evidence of the route and travel notes, analysis of the main concepts related to Italy. To interpret the meanings of texts, the author applies an integrated approach using philological, philosophical, cultural and religious studies tools. Dostoevsky's epistolary texts as a factor in the formation of a national mentality are examined in terms of the relationship between text and extra-textual structures (symbolic representations, motivation, behavioral stereotypes, social and cultural practices).

Keywords: Dostoevsky, epistolary heritage, images of Italy, concept “beauty”, genius loci, italian text, intertext.

References

1. Dergacheva I.V. Russkaya i evropejskaya tanatologicheskie paradigmy XIV–XVII vv. v sravnitel'nom aspekte (na materiale Sinodikov i makabricheskikh syuzhetov) // *Drevnyaya Rus'. Voprosy medievistiki*. № 2 (68). М.: INDGRIK, iyun' 2017. S. 69–75.
2. Dostoevskij F.M. Poslnoe sobranie sochinenij: V 30 t. T. 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, kn.2. L.: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1973, 1978–1982, 1985.
3. Dostoevskaya L.F. Dostoevskij v izobrazhenii svoej docheri. SPb.: Andreev i synov'ya, 1992.
4. Zaharov V.N. Sudebnyj rozysk Dostoevskogo letom 1871 g. // *Dostoevskij i mirovaya kul'tura. Al'manah* № 29. SPb. 2012 S.276-277.